

Беседы со Станиславом Рассадиным

Звонит на днях мой друг, артист Анатолий Адоскин, — не извиняюсь за столь личное начало статьи: имя достаточно известное. Хотя... Еще один мой знакомец, поэт, как-то воскликнул, услышав его от меня: «Ну как же!.. А женщины уже в волейбол играют!», чем обнаружил, что помнит Адоскина прежде всего по роли сексуально озабоченного чудака из комедии «Семь стариков и одна девушка». По счастью, однако, обычно возникают другие ассоциации: Кюхельбекер... Дельвиг... Баратынский... Жуковский... Козьма Прутков... И т. д. Именно эти — блистательные! — телевизионные композиции, в которых мой друг бывал «автором и исполнителем», образуют ту часть его актерского имиджа, что мне особенно дорога. Не мне одному.

Словом, звонит Адоскин, потрясенный — чем? Тем, что, снимая после долгого перерыва новую работу этого ряда, о самом неудачливом из гениев русской поэзии, о Батюшкове (и сперва, конечно, придя в ужас от разрухи телехозяинства), в конце концов впал в умиление. Говорит, что люди, отвыкшие от подлинного искусства, работают с наслаждением и самоотверженностью; даже те, говорит, что случайно оказываются в павильоне, не сразу верят глазам, будто такое опять возможно...

В общем: «Чудо!» — повторяет Толя, и я, радуясь вместе с ним, в то же время не без горечи осознаю: ведь это ужасно, что подобное, еще вчера бывшее как бы нормой (все-таки — «как бы», потому что норму нередко приходилось отстаивать перед трусливо-темным начальством), ныне кажется исключением. Нонсенсом. Чудом.

Сегодня привыкаем — да уже привыкли — к другому. Не говорю о всеочевидном, о засилье на том же ТВ «рейтинговой» чуши, но вот вам не вулгарный «L-клуб», не «Угадай мелодию» с вихляющимся выпускником философского факультета; вот на НТВ, в интеллигентной программе «Сегодня» сообщается о драме в мире культуры — о смерти Иосифа Бродского. Третьего из российских нобелиатов; кроме него, сообщается нам, премию получали Пастернак и... **Набоков!!!** А Солженицын? А, извините, Шолохов? А, наконец, Бунин?

Дело, впрочем, не в чем-то персональном, курьезном невежестве. Другое дело. Ничто не дрогнуло на традиционно иронической физиономии Михаила Осокина, вновь взявшего слово после сенсационного сообщения; никто до самого конца передачи не спохватился: дескать, простите, оговорились, потеряли Бунину-Солженицына-Шолохова, запомнили, что Набокова Нобелевская обошла...

Безмятежное отношение к таким ляпам — вот что убивает. Или в самом деле всеобщ на ТВ подобный уровень эрудиции?

Еще пример. Телеведущий (отличный, по крайней мере, мною любимый) допрашивает собеседницу (а перед этой женщиной я попросту преклоняю колена). И та цитирует на память замечательные и знаменитые строки Маяковского: «Я хочу быть понят мой страной, а не буду понят — что ж. По родной стране пройду стороной, как проходит кося дождь». «Чьи это стихи?» — осведомляется ведущий, признаюсь, тем меня несколько удивив. И: «Асеева», — отвечает собеседница, добавляя, что ныне, мол, это имя немодное, однако...

Опять-таки — оставляю обоим полное право на незнание и оговорку. Тем паче, догадываюсь, откуда она: эти строки, в качестве «ноу-тиха», вычеркнутые Маяковским из окончательного текста стихотворения «Домой» (и тут, значит, наступил на горло собственной песне), именно его друг Асеев воспроизвел в своей поэме «Маяковский начинается», в главе, которая и называется «Косой дождь». Но ведь передача монтировалась, ее до эфира просмотрело-прослушало множество людей — ну почему не нашлось ни единого, кто заметил бы оплошность? А возможно, что и заметил, но — какая разница, наплевать, сой-дет.

Сошло — как и многое, многое. И вот восклицаю: «Чудо!» — в точности как бывало прежде, в пресловутой «застой», когда удавалось на ТВ, в печати, в театре, в кино что-нибудь протолкнуть-проташить сквозь недреманную цензуру. Сегодня ж, выходит, вязнем в беспечности и бескультуре... Что тоже — цензура. Заслон. Запрет.

Если так, то не чудо ли и то мероприятие, участником которого я был в феврале? Речь о Третьем всероссийском театральном фестивале «Пушкинская программа», как и первые два, имевшем быть (говоря по старинке) во Пскове, чья администрация вновь явила трогательнейшую, а по нынешним временам героическую готовность взвалить на свои не все-ильные плечи расходы на это действо. Мотором же фестиваля был и остался Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге (Москва, увы, на сей раз сплховала), организация прелюбопытнейшая.

«Это не театр в обычном представлении. Это механизм самосоздающийся и саморегулирующийся...» Цитирую создателя и директора Центра Владимира Рецетпера, выступая словно бы в роли интервьюера, что мне, по правде, немного смешно. Ибо помню его, дружу с ним, жутко помыслить, с 1961 года, с той минуты, когда он, тонкий, как хлыстик, сбегал с высоких ступеней Ташкентского драмтеатра навстречу приезжим, ныне покойному Камилу Икрамову и покида живому мне. А потом был «Гамлет», где юный Рецетпер покорила меня в роли принца (хвастаясь, что оказался первым, написавшим о нем в Москве); были Чацкий и Тузенбах у Товстоногова, постановки Блока и Пушкина, чтецкая работа на эстраде; были книги стихов, прозы, эссе; были и продолжают серьезными пушкиноведческими штудии — в общем, этакий нашенский Леонардо. И вот теперь: «У нас в Центре несколько направлений. Во-первых, собственно театральное, когда создаются те или иные, простые или сложные продюсерские группы для производства спектаклей. Как бы попытка создать, скажем, театральное собрание сочинений Пушкина.

Во-вторых, фестивальное направление — с непременным участием «пушкинской лаборатории». В-третьих, издательская деятельность...» Далее — о частностях, о конкретных проектах, о спектаклях и книгах, перечнем чего не стану утомлять моего читателя, ограничившись генеральной идеей, нравственным и эстетическим стержнем: «Главное — это восстановить справедливость. В самом деле! Именно Пушкин указал направление русскому театру» — и именно он меньше всех гениев сцены воплощен на ней адекватно. Вот мы и совершаем попытку сдвинуть эту телегу, развернуть оглобли в том направлении, куда театральный воз еще не ездил и — впрямь самим, раз уж другого тягла не видно. А если воз сдвинется, то движение продолжится и без меня, без нашего Центра...»

Сдвинулся ли? О да — говорю если и не с полной уверенностью, то с крепнущей надеждой, и помянутый

заставляет художника выражаться образно, изощренно, обиняком, изыскивая новые средства, так бедность срежиссировала особенную неразбросанность, цельность общего действия. Однако только ли бедность? К примеру, вечером посмотрим спектакль одного — и пластичнейшего — актера Владимира Завьялова «Уединенный домик на Васильевском», эту страшилку, которую Александр Сергеевич устно импровизировал в гостинице, забавляясь испугом знакомых дам (и которую записал по памяти его знакомец Титов). Вещь, выражаясь опять же по-нынешнему, маргинальную (вроде бы автор — Пушкин, а вроде бы и не он), что тонко почувствовали и озорно воплотили Завьялов с постановщицей Никой Косенковой, режиссером уникальным. В самом деле: мертвец, черепа, всякая чертовщина, но, чем пугал и чего сам пугался молодой Гоголь и что для Пушкина, так сказать, готический китч, ирониче-

зантизм Божий; даже «милиейскому кинодраматургу» Гелию Рябову, который от сериала «Рожденная революцией» перешел к поискам захоронения монаршей семьи, этой революцией уничтоженной, достается за его «внешность еврейского аристократа».

Так смеяться ли? Поздно. Серчать. На кого? Но, еще и еще раз скажу, и это — режиссура жизни, режиссура Пушкина, так как ехали мы на встречу с тем, кого также пытаются использовать в нечистых целях (не забыть, как Александр Невзоров сладострастно декламировал «Клеветникам России» на фоне кровавых событий в Вильносе, приобщая Пушкина к сотрудничеству-союзнничеству с органами безопасности). И кто первым в России указал на отечественную болезнь самозванства, политического и духовного, когда узурпируют власть или само слово, его ли, пушкинского, евангельское ли; болезнь, от которой, как от чесотки, подергивается и наша нынешняя Россия. Кстати — именно слова кстати! — не оттого ли молодой артист БДТ Михаил Морозов, в одиночку взявшийся сыграть чуть не всего «Бориса Годунова», упорно кренил трагедию именно в сторону самозванства и Самозванца, до такой степени не скрывая тенденции, что участница «пушкинской лаборатории» Татьяна Ланина метко определила моноспектакль как «политический репортаж в духе «Московского комсомольца»?

«Годунов», конечно, вещь, оказавшаяся особо нацеленной в наше сегодня. Я и сам в прошлом году, в общем, критически отнесся к мхатовской постановке, зато восхитился тем, как Олег Ефремов режиссерски решил финал. Тот, насчет которого пушкинцы по сей день не перестали спорить, надо ли предпочесть последний авторский вариант знаменитой ремарки «Народ безмолвствует» (будто бы избранный под давлением цензуры) или же оставить, как было вначале, когда народ, следуя «указаниям сверху», послушно орал: «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!»

Так вот, у Ефремова толпа сперва кричит Самозванцу эту чужденную здравцу, но, увидав трупы царицы и царицы, замораивает в безмолвии. И, не страшась злободневнейшей параллели, скажу: это схема и нашего с вами прозрения, давшего такой кровавой ценой, это наша с вами свобода, слово совсем не «сладкое», как бессмысленно повторяли иные, но — и страшное тоже. И это наше отсутствие гарантии, что, ужаснувшись и этой ценой обретя свободу от многих иллюзий, того гляди, опять заволим «Да здравствует!..» очередному сулящему скорое счастье Отрепьеву, приветствуя свое закрепощение.

Никакой Пушкин, кто б он для нас ни был, не отвратит нас от такой возможности. И все же, и все же...

«Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь», — вот кто поразил меня на фестивале, Светлана Крючкова, читавшая, в частности, и эти стихи. Полюбив эту артистку, кажется, с первого ее появления на экране, зная едва ли не беспредельность ее возможностей, не подозревал, что она так читает поэзию. «Наследство их из рода в роды ярмо с гремушками да бич» — и самито по себе пушкинские строки, где боль разочарования спрятана под презрением, рвут современное сердце, но Крючкова к тому же прола из с такой вразумляющей, ба-сенной простотой, что личная выстраданность Пушкиным этой презрительной инвективы, некогда приведшая его в отчаяние, обрела спокойную объективность прописи. Неужто, мол, сохранился хоть кто-то один, не понявший, сколь бессмысленно и позорно рабское существование?..

А Владимир Рецетпер, выступив со своей испытанной пушкинской программой, где, к примеру, и «19 октября», напротив, не ясен и не простодушен по-детски, но словно бы отягощен опытом двух прошедших столетий. Сквозь хрестоматийные строки проступает не двадцатистилетний автор (ныне сказали бы «молодой поэт», но повернется ли язык так окрестить смолу зрелого Пушкина?), а... Уж не старик ли? Нет, но — понимаешь вдруг трепетно — находящийся там, вне земных измерений, откуда извещающий. «Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было?..» — у артиста в эту мирную фразу, обращенную к Кюхельбекеру, врывается восхитительная пунктуация оклика из дальней, недосягаемой дали: «Скажи!.. Вильгельм!..» Ауй!

Отчего так? У артиста об этом не спрашивал, но мне здесь чудится вот что. Непременный участник псковских пушкинских фестивалей, замечательный пушкинист Сергей Фомичев как-то вспомнил зацитированные гоголевские слова о том, что Пушкин — это «русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет»; слова, так часто повторявшиеся с самодовольством строителей коммунизма, наконец-то досторших до уровня Пушкина... Уж не переросших ли? Впрочем, Фомичев-то, вспоминая, добавил, возможно, не без сарказма: сказано это Гоголем в 1832 году. То есть: торопитесь, друзья, не упускайте последний шанс, осталось всего ничего.

Как бы то ни было, та близость к нам Пушкина, которую я физически ощутил, слушая Светлану Крючкову, неотрывна от того безмерного, вправду чуть не потустороннего удаления от него, что для меня прозвучало в рецетперовском чтении. Именно так — неотрывна. Чтоб ощутить и понять пушкинский мир, как собственный и родной, надобно сознать расстояние между нами и им — гулкое и прозрачное расстояние, а не пьяный туман, в котором обнимешь запанибрата кого угодно. Пушкин — и близко и далеко; когда тот же Владимир Рецетпер читает «Разговор книгопродавца с поэтом», где человек рынка совращает в свою прагматическую веру человека искусства: «Наш век — торгаш; в сей век железный без денег и свободы нет... Не продается вдохновение, но можно рукопись продать», — можно ли не увидеть в этом нашу нынешнюю ситуацию? Нельзя. Но...

Однако прервемся на многоточии. Разговор непростой и некроткий — вернемся к нему в последующих статьях.

Коллаж Алексея ИОРША



РЕЖИССЕР ПО ФАМИЛИИ ПУШКИН

фестиваль (Третий — сама цифра ласкает слух), кажется, дает на нее право. Не пишу, Боже меня сохрани, отчета о нем, но надеюсь, что он даст разгон задуманной мною серии очерков — о нас, о нашем культурном прошлом и настоящем, о нашей, как нынче принято говорить, ментальности — проще сказать, о том, насколько мы были и остаемся (остаемся ли?) нацией Пушкина.

Имею в виду, обратите внимание, не только тех одиночек, сколько бы их ни насчиталось, кто жить не может без томика Пушкина под подушкой; даже не тех, кто со школьных лет держит в памяти десяток-другой пушкинских строчек. Нет, и тот, кто знаком с национальным гением по романсу «Я помню чудное мгновение» и по фабуле оперы «Евгений Онегин», и он, несколько того не со-знавая, своим, каким-никаким вкусом, пуще того, самим мировосприятием обязан Пушкину. Его роли, его месту в нашей словесности и культуре.

Или уже не обязан? Так сказать, сбросил узы, раскрепостился? Вопрос не праздный, вопрос мучительный, отчего ответ на него рискует затянуться не на одну статью.

Итак, Псков. Пушкинский фестиваль как воплощение того самого «чуда». Правда, в этом году по недостатке средств не было сил поднять спектакли многофигурные (в прошлый-то раз привозили и Олег Ефремов своего громоздкого «Годунова», и — аж из Литвы — театр Эймунтаса Някрошюса парадоксально-блестящий спектакль по «Маленьким трагедиям»). Что ж, тем теснее был круг, тем сгущеннее атмосфера сплоченности вокруг Пушкина: и на вечерере Сергея Юрского, триумфально прошедшем в битком набитом зале Псковского драмтеатра, и на камерном, почти семейно-домашнем, этим-то по-своему и прелестном моноспектакле тверича Георгия Пономарева (и пианистки Марины Черной). Пушкин — по-русски и **по-немецки**, да, да, такая вот возникла причудливая идея, зазвучало не только «К Чаадаеву», но и «An Tshaadajew», и «Elegie», и многое еще; фонетическая экзотичность сперва вызвала веселое любопытство, а потом осозналась радость ловить родное в звуках чуждого языка, торить к слову, знакомому с детства, и такой, кружной путь, приторкывающий нечто полузагадочно-новое.

Возникает ощущение расстояния между нами и Пушкиным; о смысле этого еще скажем.

Как-то все складно выходило на фестивале: я даже сострил, что, как постылая цензура иногда — да, слу-

шая абсурдистика, — это все, повторяю, нам было представлено вечером, а на следующее утро, словно так и задумано, обсуждаем пьесу молодого питерского драматурга Натальи Скороход по «Повестям Белкина». Не привычно-добротную инсценировку, но также нечто вроде пьесы абсурда, которая ежели что и поэтизировала у пушкинской прозы, то не фабульные ходы, а полускрытую пародийность «Повестей». Их веселую игровую природу, ей Богу, способную дать сто очков вперед любому постмодернизму.

Короче, все, говорю, складывалось и состыковывалось, обретая незагаданный, но стройный сюжет, и чья тут была, снова спросу, режиссерская воля? Зачинателя всего дела Рецетпера? Но это и ему не под силу, при всем моем к нему уважении. Беря много и много выше, самого Господа Бога? Вряд ли ему было до нас. Нет, говоря как бы в шутку, а на деле совсем не шутя, то была направляющая рука «Пушкина-режиссера», как назвал когда-то свою лекцию Мейерхольд. Потому что круг вечных — стало быть, и вечное злободневных — вопросов, которые занимали Пушкина, и нас, нынешних, втягивает в себя, организуя наши чувства, объединяя мысли.

Хотя и сама по себе непричесанная жизнь способна на чисто режиссерский кунштук. По дороге в Псков в наше купе заглянул некто бородастый, предложил для прочтения некий листок — как оказалось, «Опричный». Взяли из вежливости и, заглянув... Нет, не скажу: оторопели, ибо подобное стало для нас, к несчастью, привычным, но — призадумались в очередной раз, не лишний ли раз. «Как, по выражению апостола, «велия благочестия тайна» состоит в воплощении Сына Божия, вочеловечившегося от чистых и девственных кровей Пречистой Девы...» так, по противоположности, под «тайной беззакония» должно разуть ту чудовищную селекционную работу, производимую в генетических недрах беззаконного жидовства...»

Логика! Ради защитного смеха можно вспомнить из Горького — как некий провинциальный батюшка яростно отрицает евангельский факт, что Иисус был рожден еврейкой. Ему суют под нос Священное писание, коему он возразить не смеет, и все же:

— Не может того быть! Впрочем, не до смеха. «Жидов», «жиды», — твердит «Опричный листок», — кровь христианских младенцев, убиенный жидами Царь, Пома-